

Часть пятая. После

I. Тюрьмы и понтоны. – Путь в Новую Каледонию. – Бегство Рошфора. – Жизнь в Каледонии

Чтобы в немногих словах передать столь обширные воспоминания, надо поистине сжимать строчки.

Я вижу вновь Оберив с его узкими аллеями, извивающимися среди елей, с его огромными палатами, где ветер дул как на корабле; вижу молчаливые вереницы узниц в белых чепцах и косынках, заколотых булавкой на шее, столь похожих на крестьянок прошлого века.

Нас приехало из Версаля 20 заключенных в фургоне, разделенном на клетки, который ставили на рельсы и потом запрягали, сообразно продолжительности пробега, соответствующим количеством лошадей.

Так как нас предупредили об отъезде только ночью, мы не смогли сообщить об этом родным, а между тем следующий день был днем свиданий (так же, как и при моем переводе в аррасскую тюрьму). В результате моя мать, как и многие другие, приехав в Версаль, должна была удовольствоваться ответом, что мы отвезены в «централ», где и будем ожидать отправки в ссылку.

Моя мать вернулась в Париж, застывшая, – похолодев от этого известия больше, чем от мороза, – и только после, когда она присоединилась к сестре в Клермоне, чтобы быть поближе ко мне, я узнала, что она была тогда опасно больна.

Лишенные возможности сноситься с внешним миром, если не считать весьма редких и коротких посещений ближайших родственников, мы все время находились в тюрьме наедине со своими мыслями.

Теперь я буду принуждена чаще, чем раньше, говорить о нас и, в частности, о себе самой, потому что единственными событиями, нарушавшими нашу жизнь, были появления новых узниц, которые о том, что происходило вне мест заключения, знали, пожалуй, еще меньше, чем мы. Время от времени деревенский барабан возвещал на площади о каком-нибудь постановлении правительства, причем человек, читавший текст постановления, останавливался на каждой улице и повторял его. Когда окна тюрьмы были открыты и ветер дул с той стороны, мы слышали не хуже деревенских жителей то, что читалось по

распоряжению властей.

Эти манифесты, исходившие от Тьера, Мак-Магона, де Брольи и других говорили нам о том, что все обстоит по-прежнему в нашей худшей из республик.

Из вещей, написанных мною в Обериве, у меня сохранилось только несколько стихотворений и отрывков.

От «Женщины в разную пору ее жизни», напечатанной в «Экскомюнье» Анри Пласа спустя некоторое время по моем возвращении, у меня осталось только несколько листочков.

«Совесть», «Книга мертвых» – потеряны; не знаю, где находится рукопись «Книги о каторге», первая часть которой, подписанная «№ 2182», была написана в Обериве, а вторая, разделенная от первой целым океаном, – в центре Клермона, через несколько лет после моего возвращения, и подписана «№ 1327».

Но разве от жизни и трудов тех, кто подобно мне сражался за свободу, остается что-нибудь, кроме лоскутков, растерянных на дороге?

Огромное пространство, покрытое белой пеленой глубокого снега, – вот все, что было видно из окон Оберива. Залы тюрьмы были обширные и гулкие, общий вид здания напоминал обитель сна, населенную мертвецами.

«Даная» отправилась в путь в мае 1872 года, «Воительница», «Гарона», «Вар» отправились вслед за нею; ушли также «Сибилла», «Орна», «Кальвадос». А мы все не получили приказа готовиться к отъезду.

Мы ждали, предоставив событиям распоряжаться нашей судьбой; мы были спокойны, какими и должны быть люди, видевшие разгром целого города; но животворная идея не покидала нас...

Зимой по тропинкам сада, под зелеными елками тоскливо стучали деревянные башмаки на усталых ногах узниц, равномерно ударяя о мерзлую почву. Медленно тянулась их молчаливая вереница.

Зима сурова в этой стране; снег глубок, ветви деревьев, на которые он ложится, клонятся к земле, как каменные жилы.

Все мы, пленные коммунарки, помещались вместе в обширном зале; мало-помалу сюда прибывали осужденные женщины из всех тюрем Франции, как те, которые доблестно сражались за Коммуну, так и те, которые мало проявили себя: Лемель, Пуарье, Экскофон, Мария Буар, Гуле, Делетра и ряд других; никто из них не жаловался на свою судьбу: они знали, на что идут.

Не жаловалась и Ришу, хотя постигшее ее наказание было вопиющей несправедливостью.

Вот в чем состояло ее преступление. Одна из баррикад на площади Сен-Сюльпис была такой низенькой, что скорее помогала нападавшим, чем защищала федератов. И вот Ришу, со спокойным видом благовоспитанной женщины, почувствовав жалость к напрасно гибнувшим людям, отправилась прямо к баррикаде, чтобы надстроить ее как-нибудь; к этой работе она привлекла и других.

Поблизости оказалась незапертой почему-то лавка со статуэтками святых, и Ришу распорядилась вместо недостающих булыжников притащить туда эти статуи, которые были достаточно увесисты для этой цели. Ее арестовали в тот момент, когда она собиралась выйти из дому в изящном костюме и белых перчатках (выйти-то ей удалось, но вернуться пришлось только после амнистии).

- Это вы распорядились доставить на баррикаду статуи святых?

- Ну, само собой разумеется, - ответила она, - ведь статуи из камня, а те, которые умирали на баррикаде, были живыми людьми.

Осужденная за этот поступок к ссылке и заключению в крепость, она, однако, не могла быть отправлена морем, так как здоровье ее было слишком расшатано.

Другая, уже старая женщина, гражданка Луи, не совершила ровно ничего, но ее дети сражались против версальцев; на суде она позволяла говорить против себя все что угодно, воображая, что ее осуждение спасет ее детей. С этим убеждением она и умерла в Каледонии, и никто из нас не осмелился сказать ей, что, по всей вероятности, дети ее погибли. Она была уверена, что они живы, но только не могут ей дать знать о себе.

Другая дама, Руссо-Брюто, которую мы называли маркизой за точеный профиль ее молодого лица, обрамленного седыми волнами волос, зачесанных высоко по моде времен пудренных париков, попала к нам только потому, что один из ее родственников, носивший ту же фамилию, был замешан в движении. Конечно, она не была враждебно настроена к Коммуне, но революционеркой стала лишь после своего пребывания в Каледонии.

В таком же положении находилась Адель Виар: ее считали родственницей члена Коммуны Виара; виновна она была только в том, что ухаживала за ранеными.

Елизавета Ретиф, Сюетан, Марше, Папавуан, которым смертная казнь была заменена каторжными работами, тоже лишь ухаживали за ранеными. Это не помешало правительству отправить всех четырех в Кайенну, откуда Ретиф уже не вернулась.

Во вторник 24 августа 1873 года, в 6 часов утра, нас вызвали для отправки на место ссылки.

Накануне я виделась с матерью и в первый раз заметила, что ее волосы поседелели. Бедная мать!

У нее было в то время двое братьев и две сестры, которые все очень ее любили; одна из сестер, человек довольно состоятельный, решила взять ее к себе. Далекое не все могли быть так спокойны за своих, как я; значит, мне нечего было жаловаться.

Нас выкликали по списку, присланному правительством; из него исключены были только больные (им в тюрьме жилось хуже, чем нам в Каледонии) и престарелые. Итого нас было двадцать человек, и шли мы по списку, кажется, в следующем порядке:

1 – Луиза Мишель, 2 – Лемель, 3 – Мария Кайе, 4 – Леруа, 5 – Викторина Горже, 6 – Мария Маньян, 7 – Елизавета Деги, 8 – Адель Дефоссе, по мужу Виар, 9 – Луи, 10 – Байль, 11 – Тальефер, 12 – Терон, 13 – Леблан, 14 – Аделаида Жермен, 15 – Орловская, 16 – Брюто, 17 – Мария Брум, 18 – Мария Смит, 19 – Мария Шиффон, 20 – Аделина Рожиссар; последние две присоединились к нам только через год или два.

Версальской юстицией ко времени нашего отплытия было вынесено 32 905 приговоров, из коих 105 – смертных (к счастью, 33 заочных).

Сорок шесть детей младше 16 лет были посажены в исправительные дома в наказание за то, что отцы их расстреляны, или за то, что они были усыновлены Коммуной.

Много заключенных умерли: само правительство призналось в 1179 смертных случаях в тюрьмах.

В 1879 году судебное ведомство сделало общий подсчет жертв по своим же официальным данным; оказалось, что через версальские суды прошли 5000 солдат и 36 309 граждан.

Число смертных приговоров равнялось к этому времени 270, из них 8 падало на женщин.

Этот общий итог изложен у Лиссагарэ («История Коммуны») следующим образом:

Смертная казнь – 270, в том числе 8 женщин.

Каторжные работы – 410, в том числе 29 женщин.

Ссылка с заключением в крепость – 3989, в том числе 20 женщин.

Долголетнее тюремное заключение – 1269, в том числе 8 женщин.

Простое заключение – 64, в том числе 10 женщин.

Общественные работы – 29.

Три месяца тюрьмы и менее – 432.

От трех месяцев до одного года – 1622, в том числе 90 женщин и 1 ребенок.

Свыше одного года – 1344, в том числе 15 женщин и 4 детей.

Изгнание – 322.

Отдача под надзор полиции – 147, в том числе 1 женщина.

Штраф – 9.

Малолетних младше 16 лет, отправленных в исправительные дома, – 56.

Итого: 13 450, в том числе 197 женщин.

В этом перечне не упоминаются ни приговоры военных судов, действовавших вне версальского округа, ни приговоры уголовных судов.

К этому надо добавить еще 15 смертных приговоров, 22 – к каторжным работам, 28 – к высылке с заключением в крепость, 29 – к простой ссылке, 74 – к долголетнему тюремному заключению, 13 – к простому заключению, да еще некоторое количество – к тюрьме. Общее количество осужденных в Париже и провинции превышает 13 700 человек, в том числе 170 женщин и 60 детей.

Первую часть нашего путешествия мы совершили в обширной карете; только в Лангре нашли мы тот специальный экипаж, разделенный на клетки, который отвез нас в Ларошель.

Когда наша телега проезжала через Лангр, из какой-то мастерской вышли пять или шесть рабочих: голые руки их были совсем черные. Должно быть, это были кузнецы. Сняв фуражки, они приветствовали нас.

Один из них, совсем седой, что-то крикнул нам вслед; мне показалось, что это был крик «Да здравствует Коммуна!».

Повозка понеслась во всю прыть, так как кучер жестоко хлестнул лошадей.

Ночью мы прибыли в Париж; ночевали в наших клетках.

В среду, в 3 часа дня, мы прибыли в арестный дом Ларошеля.

«Комета» отвезла нас из Ларошеля в Рошфор, где мы пересели на борт «Виргинии».

Барки с друзьями целый день плыли за «Кометой». С барок этих нас приветствовали, а мы отвечали, как могли, махая платками; когда ветер унес мой платок, я воспользовалась моей черной вуалью.

Пять-шесть дней мы плыли около берегов; потом берег исчез. На четырнадцатый день исчезли и последние огромные морские птицы; только две следовали за нами еще некоторое время.

Мы были размещены в нижних батареях «Виргинии», старого военного парусного фрегата, который на воде казался очень красивым.

Самая большая клетка в задней части правой стороны судна была занята нами и двумя малютками мадам Леблан: мальчиком шести лет и девочкой, родившейся в тюрьме де Шантье несколько месяцев назад.

В клетке напротив нас находились Анри Рошфор, Анри Плас, Анри Менаже, Пасседеуе, Воловский и один из тех несчастных, которые, не будучи замешаны ни в чем, подверглись тем не менее ссылке; его фамилия была Шеврие.

Нам было строжайшим образом запрещено переговариваться с соседними клетками, но мы все-таки делали это.

Рошфор и мадам Лемель заболели с самого начала и прохворали до последней минуты; в нашей клетке тоже были больные, но они поправились еще во время путешествия. Что касается меня, то морская болезнь, как и пули, на меня не действовала, и совесть мучила меня за то, что путешествие казалось мне таким прекрасным, в то время как Рошфор и Лемель, сидя в своих клетках, не испытывали от него ни малейшего удовольствия.

Бывали дни, когда ветер яростно дул и море было бурно; тогда след корабля казался двумя алмазными струями, которые сливались сзади в один широкий поток, блестящий на солнце далеко-далеко.

Девятнадцатого сентября какое-то странное судно стало показываться время от времени позади нас: оно то ставило все паруса, то замедляло ход. Вечером «Виргиния» произвела маневр и дала два холостых залпа: судно исчезло. Наступила ночь, и из глубины мрака вновь показались белые паруса таинственного судна, после чего оно больше не возвращалось. Не хотело ли оно освободить нас?

Двадцать второго сентября на мачтах «Виргинии» появились чайки.

Вот и Канарские острова. Мы проходим в виду острова Пальмы.

Я часто думала о материках, поглощенных морем, которое, несомненно, поглотит когда-нибудь и нас. Это произойдет тогда, когда океан оставит прежнее лоно и выберет себе новое. Но это не остановит вечного прогресса человечества.

Вот бухты, доступные ветрам, а вдали – мыс Тенериф.

Еще дальше какая-то голубая вершина, теряющаяся в небесах. Что это? Мон-Кальдера? Или это только облачный мираж?

Домики на острове Пальмы кажутся построенными прямо на волнах; они белые-белые, как могилы. На северной стороне, на холме, возвышается цитадель.

Стройные туземцы приносят на корабль свои плоды. Не «гуанги» ли это, чьи предки населяли Атлантиду?

Затем мы минуем «Святую Екатерину Бразильскую», и пока «Виргиния» тащится на якорях, мы можем осмотреть всю полуцепь высоких гор, вершины которых уходят в облака. Справа виднеются входящие в гавань корабли, ряды крепостных камней. Это видно сквозь люки в верхней части нашей клетки, но еще лучше можно все это осмотреть в час прогулки по палубе.

Открытое море близ мыса Доброй Надежды привело меня в восхищение.

До Коммуны я не видала ничего, кроме Шомона и Парижа; с окрестностями Парижа я познакомилась, находясь в маршевых ротах Коммуны; потом я видела несколько французских городов, переезжая из тюрьмы в тюрьму, – и вот теперь мне, всю жизнь мечтавшей о путешествиях, посчастливилось попасть в безбрежный океан, где между небом и водой, как между огромными пустынями, не слышно ничего, кроме рокота волн и шума ветра.

Мы увидели Южный Ледовитый океан, где однажды глубокой ночью на палубу нашу стал падать снег.

И об этом, как почти обо всем, виденном мною, у меня сохранились воспоминания в нескольких стихотворных строфах.

“ В полярных морях

Снег падает, катятся волны;
Морозно небо и черно;
Корабль трещит, и ветром полны
Все паруса, и днем темно.

Матросы в круге между палуб
Пустились с песней в грузный пляс,
А с мачт высоких ветра жалоб
Напев доносится до нас.

Чтоб не заоченеть в тумане,
Все пляшут и поют они
Родную песню ланд Бретани,
Как в незапамятные дни.

И ветра жалобы так слезны,
И эта песня – как слеза;
И снег, и небеса беззвездны,
И влагой полнятся глаза.

О, сколько вложено гигантской
Волшебной силы в песню ту.
Иль это вздох Армориканской[198]
Равнины, где наш дрок в цвету?

Но ветер по морю свободный,
Как будто медью труб звеня,
Несется с новой всенародной
Легендой завтрашнего дня.

Но не одна я заносила на бумагу впечатления от нашего плавания, в стихах или в рисунках, как придется. Однажды Рошфор прислал мне стихи. Они обрадовали меня вдвойне, как доказательство того, что он еще может писать, несмотря на морскую болезнь...

Мы обменялись немалым количеством писем и стихов на «Виргинии», ибо запрещение сношений, когда находишься по соседству, силы иметь не может.

Были тут и рассказы – простенькие и более значительные, написанные ссыльными; были и стихи, и хотя форма их оставляла желать лучшего, но мысли, вложенные в них, были превосходны.

Посвящение в стихотворной форме одного товарища, чересчур ревностного протестанта, было написано на первой странице Библии и как бы дышало благовоением мирры: посвящение это я сохранила, но Библию бросила за борт – акулам.

Все эти отрывки, кроме стихов Рошфора, оказавшихся среди страниц одной книги, исчезли во время обыска, после возвращения моего из Каледонии.

Много раз приходилось мне рассказывать, как во время путешествия в Каледонию я сделалась анархисткой.

В перерыве между двух бурь, когда Лемель почувствовала себя лучше, я поделилась с ней мыслью, бывшей результатом моих наблюдений: люди, находящиеся у власти, каковы бы они ни были, неизбежно обречены либо, если они слабы и эгоистичны, совершать преступления, либо, если они энергичны и преданы делу, – погибнуть. Лемель ответила мне:

– Я думаю то же самое.

Так как я с большим доверием относилась к ее мнению, то ее одобрение доставило мне большое удовольствие.

Самое ужасное, что мне пришлось видеть на борту «Виргинии», были те продолжительные и страшные мучения, которым подвергали альбатросов, стаями летавших вокруг корабля близ мыса Доброй Надежды.

Словив на крючок, их подвешивали за ноги, чтобы они околели, не запачкав кровью свои белоснежные перья. Бедные красавцы с мыса Доброй Надежды! Как мучительно старались они поднять голову, изгибая изо всех оставшихся у них сил всю свою лебединую шею, чтобы продлить жалкую агонию, которая отражалась в их испуганных глазах с черными ресницами!

Самое прекрасное, что я видела на корабле, это бушевавшее вокруг мыса море, это как с цепи сорвавшиеся валы и ветер. Корабль, ныряя в бездну, взлетал иной раз на гребень волны, старавшейся разбить его в щепы. Бедный старый фрегат, только ради нас спущенный на воду, полуразбитый, издавал жалобные стоны и крики, как будто был готов развалиться; стоя на рейде, он казался скелетом корабля, двигаясь же – призраком; при этом его бизань-мачта так и ныряла в бездну.

Наконец, на горизонте показалась Новая Каледония.

Через наиболее безопасный узкий проход между двумя коралловыми поясами мы вошли в Нумейскую губу.

Там, точно в Риме, под ярко-синим небосводом раскинулось семь голубоватых холмов; а подальше – Мон-д'Ор, весь в расщелинах, из которых проглядывала красная золотиносная почва.

Повсюду – горы с песчаными вершинами, с разверстыми ущельями, зиянием своим говорящие о недавнем катаклизме; одна из гор расселась на две части, образуя как бы цифру «V», две ветви которой, соединяясь, подходили под навес скал, нависших с одной стороны и как бы полуоторвавшихся от почвы. На другой стороне горы их не было.

Так как всегда стараются – как это ни глупо – создать для женщины какое-то особое положение, нас хотели послать в Бурайль под предлогом, что условия жизни там лучшие; но именно поэтому мы энергично протестовали против этого, и протест наш увенчался успехом.

Если нашим на полуострове Дюко будет тяжелее, то и мы желаем быть с ними.

И вот нас повезли на полуостров на шлюпке нашего корабля. Никакое другое судно не внушало нам доверия, и капитан это понял; оставить борт «Виргинии» мы согласились только после того, как он дал нам честное слово доставить нас в Дюко. Мы с Лемель решили броситься в море в случае, если бы начальство настояло на своем намерении везти нас в Бурайль. Другие, я полагаю, сделали бы то же самое.

Мужчины, которых перевезли туда уже за несколько дней перед этим, ждали нас на берегу вместе с первыми прибывшими сюда ссыльными.

Среди них мы нашли папашу Малезье, этого старика-ветерана июньских дней, платье которого 22 января было все насквозь пробито пулями.

Тут был и Лакур, тот самый, который в Нейи так рассвирепел на меня за мою игру на органе.

У маркитанта служил мальчиком для посылок красивый и довольно умный канак Дауми, поступивший на место, чтобы научиться тому, что знают белые.

Мы нашли тут Чиприани, Рава, Бауера, старика Круазе (из штаба Домбровского), нашего старого друга Колло, Оливье Пена, Груссэ, Канле де Тальяка, Грене, Бюрло (из Наблюдательного комитета), Шарбонно[199], Фабра[200], Шампи – словом, целую массу друзей отовсюду, из бланкистских кружков, из Кордери-дю-Тампля, из маршевых рот. Рошфор, Плас и все те, которые приехали на «Виргинии», были помещены у первых ссыльных.

На «Виргинии» мы получили первую почту с родины, дошедшую до нас не в скрытой; капитан просил нас даже засвидетельствовать, что письма наши не вскрывались:

- Моряки, - говорил он, - не сыщики.

На полуострове Дюко, однако, снова начали просматривать нашу корреспонденцию.

Не просите никогда длинных писем от тех, кто годами должен писать с сознанием, что все, что он пишет, будет читаться посторонними.

Высаживаясь на полуостров, я вспомнила об одном из старейших из своих друзей, Вердюре.

- Где же Вердюр? - спросила я, удивленная тем, что его нет среди других...

Оказывается, его уже не было в живых.

Так как почта шла к нам три или четыре месяца, то было, конечно, очень трудно урегулировать переписку. Вердюр, не получавший писем ни от кого, заболел от огорчения и умер. Пакет с письмами, адресованный на его имя, пришел через несколько дней после его смерти.

Но когда почтовые сношения стали более регулярными, мы могли - через каждые шесть-восемь месяцев - получать ответ на каждое свое письмо; правда, почта приходила каждый месяц, но с письмами, отправленными три-четыре месяца назад.

И все-таки какой радостью было для нас каждое прибытие почты! Мы взбегали, перегоняя друг друга, на холм, за которым находился дом вахмистра, неподалеку от тюрьмы, и хватали корреспонденцию как сокровище.

Когда же кто-нибудь из нас при отправлении почты запаздывал на день, даже на час, надо было ждать следующего месяца.

Ссылные отпраздновали прибытие Рошфора и всех нас. Целую неделю гуляли мы по полуострову, точно совершая «увеселительную прогулку». Затем у Рошфора, т. е. у Груссе и Пена, - где для него была сооружена из глины на соломенной основе комнатка, - был дан обед, на который Дау-ми явился в цилиндре, придававшем очень забавный вид его дикарской физиономии; он запел пронзительным голосом, которым обладают все его сородичи-канаки, песню про страну Лифон, соблюдая переходы на четверть тона, странные для европейского уха (эту песню после он любезно согласился продиктовать мне)...

На этом обеде присутствовала, между прочим, двенадцатилетняя девочка, Евгения Пиффо, вместе со своими родителями. У нее были огромные глаза: лазурь их напоминала синее каледонское небо; они освещали все лицо девочки. Она спит на кладбище ссыльнопоселенцев у самого синего моря, близ подножия розовой гранитной скалы. Анри Сюеран вылепил ей из глины памятник; может быть, циклоны не тронули его.

За ее гробом, как всегда, шла длинная процессия товарищей, провожая тело. Все одевали в таких случаях белое и в петлицы втыкали красный цветок дикого хлопчатника, который так походил на иммортель. Процессия, двигавшаяся по горным дорогам, была поистине прекрасным зрелищем.

На кладбище было уже немало наших могил, усаженных цветами. На холмике, под которым зарыли Пасседуэ, лежали венки, присланные из Франции. На могилке маленького мальчика Теофиля, сына Анри Пласа, вырос эвкалипт. Пока длилась наша ссылка, цветы не переводились на могилах. Самоубийца Мерио покоится под зеленью ниаули.

Так как первым из ссыльных умер Бэрэ, то кладбище было названо его именем. Западная бухта получила имя Жан-теле, который первым построил там свою хижину. Город Нумбо, напомилавший своим расположением древнюю Трои, отстраивался постепенно: каждый новоприбывший прибавлял к прежним постройкам свой домик из кирпичей, высушенных на солнце.

Нумбо раскинулся в долине, образуя букву «С». На восточной оконечности его находились тюрьма, почтамт, продовольственный магазин; на западе – лес, опушка которого, спускавшаяся уступами, была покрыта морскими растениями, постепенно прививавшимися на суше. (Такое превращение могло произойти свободно благодаря тому, что волны время от времени омывали растительность.) Посередине буквы «С» был расположен самый город, который примыкал к возвышенности, покрытой северным лесом; по дороге к последнему поселилось семейство Дюбо.

Здание больницы возвышалось над всеми домами; под ним было два бревенчатых барака – один против другого: один из них был отведен для женщин, второй не имел еще определенного назначения.

Я нашла для него назначение: я использовала барак для занятий с молодыми людьми, которым до меня уже давал уроки Вердюр. Некоторые из этих молодых людей обладали прекрасными способностями; Сенешаль, Муссо, Мерио были поэтами. Последний внезапно впал в меланхолию и покончил с собой в припадке тоски по родине...

Домик Рошфора стоял на возвышенности, домик Грене – в расщелине скалы, окруженный садом, покрывавшим гору наполовину.

Иногда Грене начинал скучать, тогда он сильными ударами мотыги принимался яростно долбить неблагоприятную землю; его конкурентом в этом отношении был Жантеле, который на другом скате горы делал ту же работу. Вместе они обрабатывали это «поле тоски».

Свернув немного в сторону, на дорогу Тандю, вы натыкались на хижину Герэ, который любил играть на гитаре: последнюю ему смастерил из розового дерева уже на самом полуострове папаша Круазе, домик которого стоял на той же дороге. С другой стороны, недалеко от почты, на бугорке расположен был домик Пласа, где родились его дети: сын, умерший ребенком, и две дочери; несколько пониже – домик Вальзана. Его хозяин, происходивший из Оверни, занимался тем, что приспособлял для нашего повседневного употребления старые коробки от консервов, делая из них посуду; он занимался также химией, приготавливая из ниаули какую-то эссенцию, в сотрудничестве со старым бланкистом Шоссадом.

Близ женского барака находилось ранчо, сплошь увитое лианами; оно принадлежало Пенни, жившему здесь с женой и детьми, из которых дочь Огюстина родилась на полуострове.

Дальше была кузница папаши Малезье, где он выделывал для нас из старых железных обрезков ножи, садовые инструменты, словом, кучу разных вещей.

Тут же находилась хижина Лакура, а рядом – Провена; этот последний был одним из барабанщиков в армии федератов: это он неистовее всех бил сбор в те дни, когда весь Париж должен был быть на ногах.

Два отверстия, похожие на окно, прекрасный молочайник у входа, а внутри нечто напоминающее библиотеку: таков был общий вид домика Вауера.

Домик Шампи, совсем крохотный, помещался на холме Нумбо. Однажды, когда у него сидели за столом семь или восемь человек, нам пришло в голову, что можно раздвинуть стены хижины, если каждый из нас наляжет на них, даже не вставая с места.

На северной стороне находился домик Режера с зелеными стрелками на сводчатой крыше.

Было еще большое ранчо у Кервизика, близ больницы; там жил Пасседуэ в ожидании приезда своей жены.

Домик Бюрло помещался одиноко на вершине холма, где поселился и Руайе; старый Мабиль жил на Тандю, у самого моря. Я как сейчас вижу все эти домики. Перечисление их заняло бы целый том. Эти разбросанные бедные домишки из необожженного кирпича под тростниковыми крышами с высоты казались целым большим городом, но только очень древним.

Бегство Рошфора и пяти других ссыльных – Журда, Оливье Пена, Паскаля Груссэ, Бальера и Грантилля[201] – привело в бешенство каледонскую администрацию.

Был собран военный совет. Губернатор Готье де ла Ришери оказался в отсутствии, уехав на разведку на одном из кораблей, стороживших ссыльных; второй корабль находился на Сосновом острове. Прошло уже сорок восемь часов, как беглецы скрылись из виду, и наши надзиратели дрожали от страха, что их уволят. Чем большее ликование царило на полуострове Дюко, тем сильнее становилась их злоба.

Когда надзиратели произвели перекличку, Рошфора, Оливье Пена и Грантилля налицо не оказалось; однако об истинном положении вещей догадались не сразу. Ссыльные сообразили это значительно раньше начальства и потому при перекличке отвечали какими-нибудь насмешливыми возгласами. Например, когда вызывали Бастьена Грантилля, кто-то крикнул:

– У Бастьена есть сапоги, он пошел их обувать.

Когда надзиратели в отчаянии стали выкликать еще и еще раз имя Анри Рошфора, то одни закричали:

– Он пошел за своим фонарем[202]!

Другие:

– Он обещал вернуться!

Третьи, наконец:

– Сходите-ка, посмотрите, не идет ли он!

Власти были слишком встревожены, чтобы наказать нас сейчас же, и потому отложили на время расправу.

Но зрелище откровенного веселья, которое царило среди ссыльных, приводило этих каторжников в такую ярость, что они стали срывать повсюду ни в чем не повинные занавески на окнах, обыскивая дома беглецов в надежде напасть на какой-нибудь след.

Никто не видел беглецов с четверга, а была уже суббота; значит, они были спасены.

Лавочник Дюзер, чьей лодкой воспользовался Грантиль, чтобы встретить бежавших с полуострова товарищей, был наказан двумя неделями тюрьмы: дело в том, что лодка, которую беглецы потопили с помощью огромных камней на дне моря, каким-то образом перевернулась и выплыла на поверхность, что и послужило уликой против Дюзера.

Все хорошо, что хорошо кончается: Дюзеру не только заплатили за барку, но этот славный парень, изгнанный с полуострова в Сидней, устроился там гораздо лучше, чем в Нумее, где торговля идет плохо, за исключением сделок с туземцами (да и те совершаются в кредит).

После этого бегства к нам были присланы Алейрон и Рибур со специальным заданием терроризировать ссыльных, вероятно, для того чтобы побудить этим Рошфора вернуться на полуостров. Они начали со смехотворной меры: стали расставлять на холмах вокруг Нумбо часовых, казавшихся какими-то комедиантами, разыгрывающими среди грандиозных декораций под открытым небом «Нельскую башню» Александра Дюма.

Через правильные промежутки времени с гор долетали к нам крики:

– Слуша-ай!

А в светлые лунные ночи черные силуэты часовых отчетливо вырисовывались на вершинах.

У некоторых из этих часовых были прекрасные голоса. Смотреть на них и слушать их было прямо восхитительно. Для этого выходили из своих хижин почти все ссыльные.

Но потом голоса стали сиплыми, и силуэты часовых нам приелись; эти ночные представления потеряли свою привлекательность, хотя не переставали быть красивыми и живописными.

Затем последовали распоряжения, вызывавшие уже не смех, а возмущение: ссыльные были лишены хлеба.

Один несчастный, почти сошедший с ума от пережитых им ужасов, как-то запоздал вернуться к назначенному часу домой: в него стали палить, как в зайца.

Но и при Айлероне и Рибуре мы не отказались от контрабандных сношений, например, с Сиднеем: в сиднейских (как и в лондонских) газетах были напечатаны письма, в которых мы выводили на чистую воду этих господ.

Некоторые из этих писем сохранились у меня:

Полуостров Дюко, 9 июня 1875 г.

Дорогие друзья!

Вот официальные документы касательно нашего переселения, о котором я уже упоминала.

На это переселение мы согласились только под условием, что будут приняты во внимание наши протесты: 1) против формы, в какой был издан приказ; 2) против режима, установленного для нас на новом месте.

В сущности, для нас совершенно безразлично, в каком углу полуострова мы будем жить, но мы не могли примириться с наглостью первого приказа. Мы решили выставить наши условия и согласиться на перемену местожительства только в случае выполнения этих условий.

Это и было сделано.

Вот копия первой афиши, расклеенной в Нумбо 19 мая 1875 года; распоряжения администрации сообщаются обыкновенно нам в таких афишах, причем мы обозначаемся в них как «ссылный такой-то, номер такой-то».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 мая 1875 г.

Согласно распоряжению администрации, следующие ссылные женщины должны покинуть лагерь Нумбо 20 сего мая и переселиться в отведенное для них помещение у Западной бухты: Луиза Мишель, № 1; Мария Смит, № 3; Мария Кайе, № 4; Адель Дефоссе, № 5; Наталия Лемель, № 2; ссылная Дюпре, № 6.

Мы заявили следующий протест:

Нумбо, 20 мая 1875 г.

Ссылная Наталия Дюваль, по мужу Лемель, не отказывается перейти в барак, предназначенный для нее администрацией, но ставит на вид следующее:

1) она не в состоянии без посторонней помощи перенести свои вещи;

2) она не может сама ни рубить дрова для варки пищи, ни переносить их к себе;

3) она устроила у себя два курятника и возделала у себя участок земли;

4) на основании закона о ссылке, гласящего, что ссыльные могут жить группами и семьями, и предоставляющего ссыльным право выбора себе сожителей – ссыльная Наталия Дюваль, по мужу Лемель, согласна на совместную жизнь с другими ссыльными не иначе, как по ее выбору.

Наталия Дюваль, по мужу Лемель, № 2 Вот еще один протест:

Нумбо, 26 мая 1875 г.

Ссыльная Луиза Мишель (№ 1) протестует против мероприятий администрации, согласно которым для ссыльных женщин отводится помещение вдали от лагеря, как будто их пребывание в нем было отмечено чем-либо скандальным.

Все ссыльные, как женщины, так и мужчины, находятся под действием одного и того же закона. Не следует дополнять его незаслуженными оскорблениями.

Что касается меня, то я не могу отправиться на новое местожительство иначе, как под условием, что мотивы такой меры будут открыто объявлены властями и окажутся уважительными; вместе с тем должен быть опубликован ожидающий нас на новом месте режим.

Ссыльная Луиза Мишель заявляет, что в случае, если мотивы эти окажутся оскорбительными, она сочтет своим долгом протестовать до конца, что бы ни случилось.

Луиза Мишель, № 1

На следующий день после наших протестов нам поставили на вид, что мы должны переехать сегодня же. Но мы, конечно, и не думали с этим спешить, твердо решившись не покидать Нумбо до удовлетворения наших справедливых требований. Мы объявили, что готовы, если угодно, идти в тюрьму, но трогаться с места сами не будем.

Впрочем, мы подтвердили, что если в наглую афишу администрации будут внесены соответствующие изменения, и барак, отведенный для нас у Западной бухты, будет устроен так, что мы не будем стеснять друг друга, – нам будет решительно все равно, где жить.

Начались визиты начальства, угрозы смотрителя, который вечером сам навестил нас: он до того растерялся, что приехал верхом на лошади, очевидно, для того чтобы более импонировать нам своим видом... Но лошадь, которой надоела долгая остановка хозяина перед нашими домиками, сорвалась с места и помчала его в лагерь против его воли.

Через три-четыре дня прибыл к нам сам управляющий местом ссылки в сопровождении начальника военных сил; они обещали нам удовлетворить наши требования, а именно: расклеить другую афишу, барак у Западной бухты разбить на домики, в которых мы могли

бы поселиться группами по два-три человека, сообразно нашим желаниям, так что занимающиеся одним делом смогут жить вместе.

Таким образом, часть наших требований была удовлетворена, но только часть, и потому ничто не могло нас заставить покинуть Нумбо. В местной тюрьме для всех нас места не оказалось, и в конце концов начальству пришлось уступить нам во всем.

Теперь мы живем у Западной бухты; для Лемель это очень тяжело, так как она почти не может ходить из-за своей болезни. Поэтому и я не пользуюсь для прогулок находящимся поблизости лесом, который, однако, так люблю.

Вот вам беспристрастный и правдивый рассказ о нашем переселении из Нумбо в Западную бухту того же полуострова Дюко.

Луиза Мишель, № 1

Следующее письмо было написано раньше этого, но появилось оно в одном австралийском журнале позднее, так как задержалось в пути.

18 апреля 1875 года, Нумбо (Новая Каледония)

Дорогие друзья!

От кого-нибудь из бежавших товарищей вы слышали, должно быть, кое-что о положении, в котором находятся ссыльные, т. е. обо всех притеснениях, злоупотреблениях властью и т. п., которые позволяют себе Рибур, Алейрон и их пособники.

Вам уже известно, что при управлении полуостровом адмиралом Рибуром тайна переписки нарушалась совершенно открыто, так что можно было думать, что несколько человек, переживших кровавую гекатомбу 1871 года, внушают страх убийцам по ту сторону океана.

Все вы знаете, что во время управления полуостровом полковником Алейроном, «героем» казармы Либо, один из стражников выстрелил в ссыльного в самом жилище последнего за то, что тот, отправляясь за дровами, перешел дозволенную для прогулок границу, вовсе и не подозревая об этом. Незадолго до того другой стражник стрелял в собаку ссыльного Круазе и ранил ее между ног хозяина. Спрашивается, в кого он целился: в собаку или в человека?

А что произошло с тех пор! Право, мне кажется, что я многое позабыла уже... Постараюсь припомнить главное.

Вы уже знаете, что те из нас, которые, нисколько не нарушая законов ссылки, являются на переключку, но не выстраиваются по-военному в два ряда, наказываются лишением хлеба.

Наш протест по этому поводу был составлен в самых энергичных выражениях: он доказал, что, несмотря на все попытки вызвать раскол в нашей среде с помощью посторонних элементов, намеренно введенных к нам, ссыльные не позабыли о своей солидарности.

После этого нас лишили всякого питания, за исключением хлеба, соли и сухих овощей. Этому наказанию подверглись сорок пять человек за то, что они якобы не хотели выполнять каких-то работ, существовавших лишь в воображении администрации.

Четырех женщин подвергли этому наказанию за то, что они якобы в отношении поведения и нравственности о с т а в л я ю т ж е л а т ь м н о г о г о, – что было наглой ложью.

Ссылный Ланглуа, муж одной из потерпевших, ответил с должной энергией оскорбителям своей жены, которая не давала ему ни малейшего повода для недовольства: он был присужден за это к восемнадцати месяцам тюрьмы и 3000 франков штрафа.

Плас, по прозвищу Верле, тоже вступился за честь своей подруги, которая пользуется уважением со стороны всех ссыльных за свое безукоризненное поведение. Он был приговорен к шести месяцам тюрьмы и к 500 франкам штрафа, а главное, чего уже никто в мире не может ему вернуть, – его младенец, родившийся во время предварительного заключения, погиб, отравившись материнским молоком (молоко испортилось от перенесенных страдальцей-матерью испытаний).

Ему не позволили даже повидать своего ребенка, пока последний был жив.

Были ли еще осужденные среди ссыльных? Чиприани, чувство собственного достоинства и мужество которого всем известны, был приговорен к восемнадцати месяцам тюрьмы и 3000 франков штрафа; Фурни – почти к такому же наказанию за «дерзкие» отзывы в письмах о начальстве, которые были вполне заслужены последним.

В самое последнее время староста ссыльных, гражданин Малезье, сидя вечером у своего дома в обществе работавших с ним товарищей, подвергся оскорблению со стороны пьяного стражника, который накричал на него за то, что тот-де шумит по ночам, и ударил; в результате Малезье был посажен еще в тюрьму.

У наших любезных победителей сквозь суровость прорывается иной раз шутовское настроение; шутки их премилы: так, те из ссыльных, которые работали больше всех с самого приезда, оказались в списках отлынивающих от работы. Один из ссыльных был занесен одновременно в два разных списка.

Официальная газета Нумеи служит неопровержимым доказательством этого: в одном списке имя этого ссыльного фигурирует в числе наказанных за отказ от работы, в другом – в числе награжденных за трудолюбие.

Не буду останавливаться на провокации, имевшей место во время вечерней переключки за несколько дней до приезда г-на де Притцбюе[203].

Некий стражник, известный своей наглостью, стал угрожать ссыльным с револьвером в руке; к этой провокации, как и ко многим другим, мы отнеслись с глубочайшим презрением. Впоследствии Алейрон и Рибур пытались оправдать свои действия.

По всей вероятности, за первым списком оштрафованных скоро последуют новые. Дело в том, что никакой работы у нас нет и не может быть, ибо, во-первых, всякие сношения ссыльных с внешним миром прерваны так давно, что никто из нас не решится начать какое-нибудь дело, а во-вторых, ремесла многих из ссыльных требуют первоначальных издержек, которые им не под силу: из всего этого вы легко составите себе представление о нашем положении.

Во всяком случае, эти факты ясно показывают, до какой степени может дойти ненависть победителей. Эту степень не худо бы знать не для того, чтобы подражать им, – мы не палачи и не тюремщики, – но для того, чтобы вполне оценить и предать гласности высокие подвиги представителей партии порядка, чтобы первое поражение ее в будущем было вместе с тем и окончательным.

До свидания, быть может, скорого. Если обстоятельства потребуют, то те из нас, которые не очень дорожат своей жизнью, наверное, рискнут ею для того, чтобы рассказать на воле о преступлениях наших владык и господ.

Луиза Мишель, № 1 После таких фактов всякий без труда поймет, почему на предложение описать положение наших ссыльных, сделанное мне по возвращении из ссылки, я ответила так:

В Палату депутатов

Комиссия № 10

Господину председателю комиссии по расследованию дисциплинарного режима в Новой Каледонии

Париж, 2 февраля 1881 г.

Господин председатель!

Благодарю Вас за честь, оказанную мне приглашением дать свои показания относительно режима ссыльных в Новой Каледонии.

Вполне одобряя образ действий наших друзей, которые стараются пролить свет на действия отделенных от нас океаном палачей, – я отказываюсь, однако, говорить о деяниях бандитов Алейрона и Рибура, пока г-н де Галлифе, который расстреливал пленных, стоит во главе государства.

То, что они лишали ссыльных хлеба; то, что они провоцировали их на переключках, приказывая надзирателям грозить им револьвером; то, что они приказали стрелять в ссыльного, возвращавшегося вечером к себе домой, – все это не удивительно: ведь эти люди отправлены были туда не для того, чтобы уложить нас на ложе из роз.

Теперь, когда Бартеlemi Сент-Илер[204] – министр, а Максим Дюкан[205] – член академии; когда имеют место такие факты, как изгнание Чиприани и молодого Морфи и целый ряд

других гнусностей; когда г-н де Галлифе снова заносит свой меч над Парижем, и когда тот же самый голос[206], который призывал громы и молнии на голову «ля-виллетских бандитов», поднимается теперь для оправдания и прославления Алейрона и Рибура, – я предпочитаю ждать часа великого возмездия.

Примите, господин председатель, уверения в моем почтении к Вам.

Луиза Мишель

Когда в 1877 году крайняя левая обратилась к министру, – кажется, Байо, – с запросом, почему столько достойных уважения людей исключены из амнистии, последний ответил, что некоторые из этих людей сами отказались от нее, оттолкнули всякую милость и открыто заявили, что берут на себя всю ответственность за свои действия.

– Как вы хотите, – заметил Клемансо, – чтобы эти люди позабыли ужасы репрессий? Вы говорите: «Мы не забываем». Но если вы ничего не забываете, то и противники ваши помнят обо всем.

Клемансо был прав: мы отвергли милость, потому что считали своим долгом не допустить унижения революции, той революции, во имя которой Париж был залит кровью.

В конце моего письма от 18 апреля был намек на один проект, задуманный мною и г-жой Растуль[207]; сносилась с нею, пользуясь коробкой с нитками или другими предметами в этом роде, как средством сообщения с Сиднеем, где жила Растуль.

Письма были вклеены в дно коробки между двумя бумажками.

План наш состоял в следующем: как-нибудь ночью, после переклички, пробравшись через горы, я выйду на дорогу к «Северному лесу» и, обойдя сторожевые посты по так называемому французскому мосту, т. е. броду (в этом месте обыкновенно вместо воды бывает только жидкая грязь), доберусь через кладбище до Нумеи, соблюдая, конечно, необходимые предосторожности.

Оттуда уже кто-нибудь, по соглашению с г-жой Растуль, помог бы мне отплыть на корабле, место на котором должно было быть заранее куплено для меня.

А уж в Сиднее я постаралась бы расшевелить англичан рассказом о подвигах Алейрона и Рибура, причем мы надеялись, что храбрые моряки снарядят бриг и отправятся на нем со мной за остальными товарищами.

Дело в том, что, если бы план не удался, я сама вернулась бы на Дюко: ведь нас было только 20 ссыльных женщин, – нужно было освободить всех или никого.

Наша коробка не вернулась к нам: проезжая через Сидней на обратном пути, я узнала, что как раз в тот момент, когда я должна была получить уведомление, что пора приступать к осуществлению проекта, и письмо и коробка были перехвачены.

Администрация Новой Каледонии не говорила мне никогда о том, что в ее руки попал мой план накануне его осуществления.

Шестьдесят девять жен наших товарищей прибыли к нам на транспорте «Фенелон», мужественно пожелав разделить со своими мужьями их горькую долю.

На самом полуострове состоялось несколько браков.

Анри Плас женился на Марии Кайе, очень хорошей девушке, храбро сражавшейся на баррикадах в майские дни.

Лонглуа женился на Елизавете Деш. Много ссыльных жили по-семейному.

Г-жи Дюбо, Арнольд, Пен, Дюмулен, Делавиль, Леру, Пиффо и некоторые другие вернулись к прежней семейной жизни: под ветвями ниаули росли дети и были гораздо счастливее тех, единственным приютом которых были исправительные дома, куда их посадили за расстрел их же отцов.

Простые ссыльные, поселенные на Сосновом острове, были лишены сношений с внешним миром в большей степени, чем мы, так как были отрезаны от него 20 милями морского пути. Они сносились с внешним миром исключительно путем писем, проходивших через руки администрации.

И вот одни из них сошли с ума, как Альбер Грандье, сотрудник «Призыва», все преступление которого заключалось в нескольких газетных статьях. Другие теряли терпение, становились вспыльчивыми и раздражительными. Четверо были осуждены на смерть за то, что избili одного из своих уполномоченных. Казнь была приведена в исполнение, причем в числе казненных был один, виновный лишь в том, что находился в дружеских отношениях с остальными (сам он не был замешан в деле).

Перед казнью их заставили пройти перед приготовленными для них гробами; они шли, улыбаясь, радуясь тому, что навсегда избавляются от страданий.

Солдаты карательного взвода дрожали, и осужденные должны были всячески подбадривать их.

Перед казнью они поклонились в сторону товарищей и, не бледнея, ждали роковой минуты.

Администрация не хотела выдать их трупы.

«Позорные столбы» были выкрашены красной краской: они оставались на том же месте до окончания срока ссылки.

Когда кого-нибудь из ссыльных Соснового острова присуждали к тюремному заключению, их отвозили отбывать наказание на полуостров Дюко: таким образом, мы узнавали об их жизни во всех ее подробностях.

11 марта 1875 года двадцать ссыльных Соснового острова пытались бежать в Австралию на барке, сооруженной ими самими. 18 марта того же года, т. е. через неделю, на берег были выброшены обломки этого судна, но от беглецов не осталось ни клочка одежды, ни куска одеяла, ни одного трупа.

Растерзали ли их акулы? Или, быть может, их убили туземцы какого-нибудь из островков, которыми усеян этот океан, как небо звездами? Или же они уплыли так далеко, что заблудились среди этих неведомых островков и не смогли добраться до какой-нибудь твердой земли? Вот фамилии этих двадцати человек: Растуль, Совэ, Сави, Демулен, Ганье, Берже, Шабрутти, Руссель, Сорель, Ледрю, Луи Леблан, Массон, Дюшен, Галю, Гинь, Адан, Бартелеми, Пальма, Жильберт, Эда.

18 марта, в тот самый день, когда на берег выбросило обломки их лодки, скончался Марото в больнице на острове Ну.

Этот остров Ну был самым мрачным из адских кругов.

Там жили Аллеман, Амуру, Бриссак[208], Альфонс Эмбер[209], Левье, Кариа, Фонтен, Дакоста, Лисбонн, Люсинпиа[210], Рок де Фильоль, Тренке, Урбен и некоторые другие самые испытанные и самые дорогие наши товарищи. Они были скованы двойной цепью и волочили на ноге ядро, рядом с теми из уголовных преступников, которых считали наиболее законченными. Последние сначала всячески издевались над ними, но под конец стали уважать их.

Представьте себе две согнутые в локтях руки, одна против другой: так выглядят на карте полуостров Дюко и остров Ну; в глубине же рейда, который вдается как бы между плечами, расположена Нумея.

С западной бухты можно видеть здания острова Ну: ферму и рядом с ней пушечную батарею. Как долго, бывало, стоишь на берегу, созерцая эту пустынную землю!

К концу нашей ссылки заключенные с острова Ну были переведены на полуостров Дюко. Какой это был торжественный праздник – единственный с 1871 года день, отпразднованный нами. Он обошелся нам недешево.

Для погони за беглецами администрация пользуется канаками, причем выбирает из них наиболее диких и дрессирует, обучая продевать пленнику между крепко связанными руками и ногами палку, за которую берутся с двух сторон (так переносят здесь свиней); это называется т у з емн ой п ол ици ей. Удивительно, что до сих пор еще не прислали из Парижа на подмогу этой полиции несколько хорошо обученных рот солдат; и странно также, что канаков не отправляют во Францию на подмогу нашей полиции.

Не все канаки возвращены таким образом, не все служат в полиции: часть их не могли вынести притеснений французской администрации и начали восстание, охватившее несколько триб[211].

Некоторые из ссыльных держали сторону канаков, другие были против них. Я всецело была за них. Между нами происходили частые споры; однажды у Западной бухты мы так горячо спорили, что весь караульный пост сбежался к нам, желая узнать, в чем дело. Нас было только двое, но орали мы, как тридцать человек.

Съестные припасы доставлялись к нам в бухту слугами надзирателей, канаками. Это были очень кроткие люди, старавшиеся рядиться как можно лучше во всякие дрянные лоскутки. Своей смесью наивности с хитростью они очень напоминали европейских крестьян.

Однажды, во время канакского восстания, в бурную ночь я услышала стук в дверь моего помещения.

- Кто там? – спрашиваю я.

- Тайо, – слышу ответ.

Я узнала по голосу, что это канаки, которые приносили нам съестные припасы. («Тайо» по-канакски – «друг».)

В самом деле, это были они. Они пришли попрощаться со мной, прежде чем отправиться вплавь к своим, для того чтобы биться «со злыми белыми», как они выражались. На дворе бушевала буря.

И вот я взяла свой красный шарф времен Коммуны, который мне удалось сохранить, несмотря на тысячи трудностей, разорвала его пополам и раздала им на память.

Восстание канаков было потоплено в крови; мятежные трибы были наказаны расстрелом каждого десятого. Теперь эти трибы вымирают, но колония от этого преуспевает, конечно, не более прежнего.

Однажды утром – это было в начале нашей ссылки – мы увидели новую партию пленников. Это были арабы в своих широких белых бурнусах, сосланные сюда за то, что и они подняли восстание против угнетателей. Эти люди Востока, заброшенные так далеко от своих палаток и стад, были чрезвычайно просты и добродушны и отличались редким чувством справедливости. Они никак не могли понять, за что поступили с ними так жестоко. Бауер, который отнюдь не разделял моего увлечения канаками, по отношению к арабам был одного мнения со мной, и думаю, что каждый из нас с удовольствием увиделся бы еще раз с нашими восточными друзьями по несчастью. Особенно восторженно относились арабы к Рошфору.

Увы! Некоторые из них до сих пор находятся в Каледонии и, вероятно, никогда не будут выпущены оттуда.

Эль-Мокрани, один из тех немногих, которым удалось вернуться, приехал на похороны Виктора Гюго и посетил меня в тюрьме Сен-Лазар, где я тогда находилась, в надежде поговорить со мной; но у него не было официального разрешения, и свидание наше не состоялось.

В последние годы ссылки те из нас, у кого осталась семья во Франции и которым разлука казалась слишком долгой (особенно если у них были дети), стали получать с родины письма, где говорилось о предстоящей амнистии. Но время шло, а амнистии все не было. Бедняги, которые, полагаясь на слова нетерпеливых друзей, ждали ее, начали чахнуть, а многие скоростижно умирали. Чаще, чем раньше, по горным дорогам тянулись длинные вереницы ссыльных по направлению к кладбищу, которое все более и более расширилось...

II. Возвращение

Те, которые провели пять лет на полуострове Дюко, могли переехать в Нумею, при условии что администрация будет освобождена от всяких забот об их пропитании и одежде.

Им выдавали формальное разрешение на право жительства на материке, причем в документе указывались гражданское состояние ссыльного и его приметы, а на обратной стороне значилось следующее:

Управление ссылкой Разрешение проживать на материке

Согласно постановлению губернатора от 24 января 1879 г. ссыльный... №... получает разрешение на поселение в Нумее у. .

Ссыльный обязан являться в контору управления в дни отправки европейской почты, к семи часам утра для регистрации; вокруг своего жилища он может свободно передвигаться на восемь километров в любую сторону, но менять своего местожительства не имеет права без особого на то разрешения.

Ссыльный лишается права на получение от администрации одежды, постельных принадлежностей и съестных припасов. В случае болезни он может быть помещен в один из госпиталей для ссыльных, при условии оплаты издержек по его содержанию в госпитале.

Помощник начальника управления ссылкой Ороэ

Впоследствии такая карточка несколько раз служила мне как удостоверение личности.

Имея диплом учительницы, я стала заниматься с детьми нумейских ссыльных и с детьми городских жителей; затем Симон, мэр Нумеи, предоставил мне уроки пения и рисования в городских школах для девочек; кроме того, от полудня до двух и по вечерам у меня было довольно много частных уроков в городе.

По воскресеньям с утра до вечера домик мой наполнялся канаками, которые учились с большим усердием; само собой разумеется, мне приходилось упрощать и разнообразить для них методы занятий. Они преизящно лепили рельефы цветов своей родины на маленьких дощечках, которыми снабжал нас Симон. Руки у них были жесткие, грубые, но, чуть-чуть шаржируя свою модель, они хорошо схватывали черты сходства. Голос их сначала был очень резок, но после нескольких упражнений в сольфеджио он приобретал большую

полноту звука. Более прилежных и увлекающихся учеников я никогда не имела: они собирались в мой дом из всех триб. В их числе был брат покойного Дауми, настоящий дикарь, присланный, однако, ко мне своей трибой, чтобы научиться для нее, как ее представитель, всему тому, что собирался изучить Дауми, преждевременно похищенный смертью.

Бедный Дауми любил дочь одного белого; последний выдал ее замуж, и бедный Дауми умер от тоски. Гигантский труд научиться тому, что знают белые, он начал столько же ради этой девушки, сколько ради своей трибы. Он хотел жить по-европейски.

Канаки рассказали мне, почему во время мятежа они не трогали отцов миссионеров, несмотря на то что те неизменно собирают с них по десять су, причем эти поборы увеличиваются, если канаки поступают в услужение к европейцам, живущим неподалеку от миссии. Оказывается, они не трогали их потому, что миссионеры учат их читать.

Учат читать! В глазах канаков это такое благодеяние, что оно с лихвой покрывает всякое злоупотребление, всякое обирательство.

В Нумее я нашла доброго старого Этьенна, которого в Марселе приговорили к смертной казни, но потом заменили ему смерть ссылкой. Тут же проживали: Малото-отец, к которому Симон, наш мэр, чувствовал глубокое уважение; затем служивший в колониальной конторе мичман Конье, один из моряков Коммуны; Орловская, бывшая для всех нас матерью; Викторина, которая заведовала банями в Нумее, пуская нас туда в любое время, когда бы мы ни захотели. О, в Нумее жили по-братски!

Когда я покидала полуостров Дюко, чтобы ехать в Нумею, Бюрло провожал меня до лодки, неся на голове ящик с моими кошками; на дороге мы встретили Жантеле, который поджидал нас.

– Неужели вы поедете в Нумею в этих сапожищах? – спросил он меня.

– Конечно.

– Ну нет, – ответил он и вручил мне серый пакет, в котором была пара европейских башмаков.

Всякий раз, как у Жантеле была работа, он делал подобные подарки ссылке. Он же понемногу закупал вино, сохраняя его для нашего праздника, 18 марта, причем в ожидании его прятал бутылки в кустах.

Четырнадцатое июля[212], проведенное нами в последний раз в ссылке, мы решили ознаменовать по просьбе Симона «Марсельезой». В промежутке между двумя вечерними пушечными выстрелами (пушка в Нумее возвещает наступление дня и ночи) г-жа Пено, начальница местного пансиона, я и один артиллерист отправились для этого на Кокосовую площадь.

В Каледонии нет ни утренней, ни вечерней зари: темнота наступает сразу.

Мы чувствовали, что вокруг нас теснится толпа, но не видели ничего.

После каждой строфы нам вторил пронзительный хор тоненьких детских голосов, который, в свою очередь, подхватывался духовым оркестром.

Мы слышали, как канаки плакали среди шелеста легких ветвей кокосовых пальм.

Симон прислал за нами, и мы отправились в мэрию между двумя рядами солдат. Но туда пришли за мной посланные от канаков, чтобы показать мне свой туземный праздник. Извинившись перед белыми, я ушла к черным, причем Симон предупредительно снабдил меня всеми принадлежностями для фейерверка.

У каждой из собравшихся там триб был свой костер на огромном поле, где все они разместились. Триба Атаи, члены которой были расстреляны через десятого, тоже развела свой костер; но когда начался танец, оставшиеся в живых представители этой трибы, в числе пяти-шести человек, вскочили на костер и затушили его голыми ногами в знак траура.

Зрелище было странное, особенно когда все канаки, один за другим, как бы играя в чехарду, принялись перескакивать через костер. Но поведение трибы Атаи произвело на всех такое сильное впечатление, что прочие трибы решили предоставить ей все, что мы принесли для всех.

Немного времени спустя, с последними кораблями пришло известие о том, что амнистия уже обнародована. Вместе с тем меня извещали, что мать моя разбита параличом. Я получала в школе сто франков в месяц и имела еще уроки, так что мне нетрудно было собрать какую-нибудь сотню франков, чтобы экстренно выехать в Сидней – застать мать еще в живых.

Садясь на пароход, чтобы ехать из Нумеи, я увидела на берегу черный муравейник канаков. Я не принадлежала к числу тех, кто верил в близкую амнистию, и собиралась устроить школы в ряде триб – и вот дикари пришли напомнить мне об этом, с горечью говоря:

– Ты не приедешь к нам больше.

Отнюдь не желая обманывать их, я сказала им:

– Да нет же, я приеду.

Долго, пока он не скрылся из моих глаз, я смотрела на черный муравейник, копошившийся на берегу, и плакала сама. (Кто знает, увижу ли я их когда-нибудь?) Вот с какими чувствами прибыла я в Сидней с его знаменитым портом, таким грандиозным, что вряд ли когда-нибудь в жизни приходилось мне видеть нечто подобное.

Я увидела утесы из розового гранита, похожие на гигантские башни, а между ними проход, будто предназначенный для титанов; я увидела, как и в Нумее, семь бледно-синих холмов на фоне неба... От этой картины невозможно оторвать глаз, до того она волшебной прекрасна.

Мои документы показались в Сиднее подозрительными: мне заявили, что я могла найти их случайно и присвоить себе. Дюзер, поселившийся в Сиднее, удостоверил мою личность. Он согласился на это, но оговорился, что в связи с бегством Рошфора у него уже были некоторые неприятности; он называл это новой авантюрой, но раскаться в ней не пришлось, так как Сидней – английская колония.

Под предлогом, что я явилась в Сидней, не спросив никого, консул, типичный «курильщик трубки» с фламандской картины, не хотел сперва отправить меня на родину с девятнадцатью другими ссыльными, которые, заработав на дорогу в Сиднее, имели возможность выехать оттуда. Но я сказала ему со всем хладнокровием, на которое бываю способна в подобных случаях, что очень рада теперь же узнать его отношение к вопросу о моем возвращении на родину, так как могу и сама добыть себе денег на дорогу несколькими публичными лекциями.

– А на какую тему? – спросил он.

– О действиях французской администрации в Нумее; подобная тема возбудит некоторое любопытство в публике.

– А что же вы будете говорить?

– Я расскажу то, чего Рошфор рассказать не мог, потому что не видал этого; я расскажу о всех гнусностях господ Алейрона и Рибура, о причинах восстания канаков, о закабалении чернокожих всякого рода долговыми обязательствами... Не знаю, право, что я буду еще говорить...

Тогда старый курильщик бросил на меня взгляд, которому хотел придать выражение бешенства, и, сломав на бумаге, которую подписывал, перо, протянул мне ее и сказал:

– Вы отправитесь вместе с прочими.

Я всегда потом думала, что в глубине души старик вовсе уже не так враждебно отнесся ко мне.

Вот как совершили мы путешествие из Сиднея в Европу.

Нас было двадцать бывших ссыльных на борту «Джона Гельдера», отправлявшегося в Лондон. Судно прошло мимо Мельбурна, не столь красивого, как Сидней, но тоже большого города, раскинувшегося по равнине в виде шахматной доски. Далее, в своем кругосветном путешествии мы прошли Суэцкий канал. Близ Мекки умер бедный араб, которого амнистия застала уже еле живым: когда-то он дал обет совершить паломничество в священный город, если ему удастся выйти на волю. Он дал обет Аллаху, но Аллах оказался не особенно милостивым по отношению к нему: бедняга умер, а мы, враги всяких богов, благополучно пропутешествовали до конца, видели Красное море, Нил с его дрожащими папирусами и караванами верблюдов, лежащих на берегу и вытягивающих на песке свою длинную шею.

Какое интересное зрелище: скалы в форме сфинксов, а далее, до самого горизонта – необозримое пространство песков.

В конце путешествия нас ожидал сюрприз; целая неделя блуждания по Ламаншу.

Мы плыли в таком густом тумане, что видели перед собой только фонари «Джона Гельдера», которые казались затерянными в небосводе звездами... Колокол корабля бил, не переставая, и ему все время вторила сирена. Эта неделя прошла как сон.

Общее мнение было, что мы погибли. И когда наконец мы вошли в устье Темзы, друзья, выехавшие нам навстречу на лодках, плакали от радости.

Нас приняли с распростертыми объятиями: в числе встречавших нас были Ришар[213], Арман Моро, Комбо[214], Варле, Прене, дедушка Марешаль и другой старик, еще более ветхий. Это был дедушка Шарантон, сделавшийся булочником с первых же дней изгнания и радушно предлагавший первым беглецам, ускользнувшим от версальской бойни, теплый угол у своей печи, а также свой хлеб.

За обедом у г-жи Удино я встретила с Дакостой[215]. Как сейчас вижу его наверху лестницы, где он стоял, ожидая нас с глазами, полными слез.

Многие из наших друзей уже уехали, но тем, кто остался, мы могли рассказать, как мы были счастливы, когда, несмотря ни на какие препятствия, до нас дошел смелый манифест лондонских эмигрантов-коммунаров.

Нам спели, как десять лет назад, песенку про простачка:

Простачок, простачок! Просыпайся, пора! Сколько воспоминаний, сколько рассказов!

Особенно о тех, которые уже спят под землей.

Нас отвели в клуб на Роз-стрит, где английские, немецкие и русские товарищи приветствовали нас радушным «добро пожаловать», а потом проводили нас до вокзала Нью-Гейвен. Лондонские друзья заплатили за нашу дорогу, которую консул принял на счет правительства только до Лондона, конечного пункта пути «Джона Гельдера».

В Дьеппе мы нашли Марию Ферре вместе с г-жой Биаз[216], старым другом Бланки. А потом в Париже встретила нас целая толпа, огромная толпа людей, которые помнили о нас.

Я снова увидела свою мать, старого дядю, старую тетю... Люди, не знающие революционеров, воображают, что они не любят своих близких, потому что всегда жертвуют ими ради идеи: в действительности, они их очень любят и любят тем сильнее, чем более велика их жертва.

Для нас снова начиналась революционная жизнь; идеи наши как бы окрепли от перенесенных нами страданий.

Мы, имевшие на полуострове всего шесть анархистов, нашли на родине целые группы людей, проделавших тот же путь; мало того, некий Андрие задумал было издавать анархистскую газету, которая, конечно, только погубила бы нас. Во всяком случае, для умного человека это было слишком наивно. И без этого наши идеи просочились бы в общество.

Теперь, когда уже двадцать шесть лет прошло со времени великой гекатомбы, теперь, когда нищета и угнетение рабочих становятся все ужаснее, – о, теперь мы видим, как новый мир приближается к нам с каждым днем.

Как часовой наверху мачты привык различать среди отдаленных облаков предвестников грядущей бури, так и мы предчувствуем приближение того, что однажды было уже пережито нами.

На нескольких страницах, которые остаются в моем распоряжении, невозможно рассказать обо всех событиях, имевших место после нашего возвращения. Для этого потребовался бы целый новый том; этот том и будет написан, если только события позволят мне спокойно созерцать прошлое, которое теперь так быстро уносится от нас вдаль.

С каждой минутой старый мир все более и более запутывается в собственных противоречиях; новая эра приближается фатально, неминуемо: ничто не может остановить этот процесс, разве одна смерть.

Только какой-нибудь мировой катаклизм мог бы остановить наступление новой эпохи.

Целые группы людей пришли уже к идеалу сознательного и свободного человечества: это – признак того, что великий переворот созревает.

Продажные судьи могут возобновить свои «процессы злоумышленников», возбуждаемые всегда как раз против наиболее честных людей; они могут по-прежнему сажать на скамью подсудимых невинных, осыпая настоящих преступников тем, что называется почестями; власть имущие могут звать на помощь своих бессознательных рабов: ничто не спасет их, когда пробьет великий час. А он пробьет!

Именно потому, что близок конец старого мира, становится все хуже и хуже: так, закон 19 июля 1881 года, так называемый закон о злодеях, который не решались применять по его изданию, сегодня применяют повсюду...

То, на что правительство не решалось в 1874 году, оказывается вполне возможным сейчас, и, как в разгар версальской реакции, достаточно одной газетной статьи для осуждения на ссылку или на смертную казнь. Не далее как на этой неделе мы получили доказательство тому в процессе и осуждении Этьевана[217].

Но наука, которую ничто не может остановить, идет вперед такими быстрыми шагами, что скоро всякая ложь рассеется перед ее лицом.

Грядущая раса, юноши которой будут мудрее ученейших из нас, раса, представители которой будут ненавидеть ложь и уважать человеческую жизнь, – эта раса не будет своими костями усеивать Мадагаскар или расстреливать на этом острове туземцев ради своего удовольствия, как это делают теперешние властители, не имеющие даже того извинения, какое имели Галлифе и Вашé[218], т. е. мании кровопролития.

Юношество грядущей расы не будет служить охране безопасности какого-нибудь мясника, вроде Абдул-Гамида[219], чтобы он мог безнаказанно совершать свои безобразные деяния. Юношей этих не пошлют, как теперь испанских солдат, убивать на острове Куба людей, восставших за свободу...

Сегодня гнет еще сильнее, чем в тот день, когда версальское собрание объявило гнома Футрике слишком либеральным. Но великая идея все более и более растет и ширится.

Воспрянем духом!

Во имя святой свободы, товарищи, восстанем!

Версия #2

Зверобой создал 29 мая 2025 08:06:46

Зверобой обновил 29 мая 2025 08:10:54